

СВЯТОЕ БЕСПОКОЙСТВО

Достало в нем геройства:
"Прости навек!" - сказать всему!
Но ты, *святое беспокойство*,
Тебя принес он и в тюрьму!
О ней, о родине державной,
Он говорить не уставал... -

этими словами вспоминает Некрасов в "Несчастных" о Достоевском, во многом далеком ему; и с ними сходятся другие, сказанные им же о другом - таком чуждом самому Достоевскому - о Белинском: "святое недовольство" - сходятся понятия *святости*: свято недовольство, свято вообще "беспокойство" - это голос певца нашей "революционной души", голос поэта поистине национального. Здесь не важно, прав ли был поэт, определяя одного "беспокойством", а другого - "недовольством", - здесь важно ощущение святости именно таких чувств, святости мятущейся души.

Свято беспокойство, свято недовольство, свято волнение!

Современный поэт в предисловии к книге своих стихотворений, вызванных возбуждением смутных дней, возмущенно процитировал слова старого эстета:

Что скажет нам, что жить мы не умели?
Бездушные и праздные умы!
Что в нас добро и нежность не горели,
И красотой не жертвовали мы? (Фет),

кончил цитату восклицанием, обращенным к современности: "И вот *земля в снегу*!.. Плод горестных восторгов, чаша горького вина. Когда безумец потерял дорогу, уж не вы ли укажете ему путь? Не принимаю – идите своими путями... Не протягивайте рук и не спасайте. Далеко в потемках светит огромный факел влюбленной души. Если с ним заблужусь, то уж некому спасти, ибо сама судьба превратила эту пышность, этот неизбежный восторг, эту ясную совесть, эту радостную тоску в ничто. И я протяну к ней руки, я поклонюсь ей в ноги..." (А. Блок "Земля в снегу". 1908 г.).

Этот поклон в ноги судьбе, это смирение перед нею - есть отказ от беспокойства, и преклонение перед эстетизмом отсюда прямо вытекло – это эстетизм новый, раздраженный, верно уловленный поэтом в карамазовском образе: "Расступитесь!.. Издали идет к вам вольная, дерзкая, наглая цыганка с шафранным лицом, с бездонной страстью в черных очах. Медленно идет, гуляя, отдыхая, от одной страстной ночи к другой... Вам должно встать и дать ей дорогу и тихо поклониться" (там же). Так поколение, наиболее яркое после 60 - 70 годов, начало религиозностью, примкнуло к революции, когда она началась, и припало к эстетизму - или к разгулу? - когда она отхлынула. Во всяком случае, от святого беспокойства произнесло отречение. Блока надо

считать одним из самых тревожных в нашей современности и поэтом истинным. Кто знает путь его лирического развития - от мечтательной религиозности, через восторженные предчувствия и чувственную возбужденность, до неисходной тоски в той ночи, которую он сам называет "снежной", всю землю покрывшей снегом и глухо настраивающей только на мысли о смерти, - кто поймет при этом, насколько этот путь - общий очень многим, тот оценит тягостное состояние тех, кто - хотя бы мечтательно - поверил, и чья вера не исполнилась. Он - только мечтатель, только лирик, только поэт, - тем более жутко видеть это обмирание "беспокоящегося" сердца. Мы живем в дни реакции - и в дни эстетизма. В каком отношении находится одно к другому? Только что отошедшие дни были непродолжительны, но и в эти дни можно было видеть, как молодые поэты, казавшиеся только эстетами (символисты), откликнулись на революцию; значит, они не были по природе эстетами, значит, в них тоже жило "беспокойство", но революция отхлынула, и они припали к эстетизму. Теперь мы - в волне эстетизма, и очень властной.

Старая эпоха борьбы с искусством, "разрушения эстетики" - только теперь, действительно, уходит в другую историю. Еще в 90-х годах искусственной враждой к "красоте" были проникнуты все те, кого крепко воспитали их отцы - люди 60-х годов, а тяготение к эстетическому было делом отдельных лиц или кружков. Теперь оно проникло в жизнь, в массу, разлилось повсюду - победоносно, т.е. стало уже бессознательным настроением, обратилось в привычку, вошло в обиход, сказываясь в каждом новом здании, заказанном любому подрядчику, к каждой дамской шляпке, в каждой запонке, в самых дешевых обоях - во всех мелочах психологии и быта. Стоит сравнить наш теперешний обиход со всеми его предметами необходимости и роскоши с тем, что было в 50 - 60-х годах, чтобы сразу увидеть, насколько наряднее, праздничнее стала жизнь, насколько искусство подчинило ее своей власти, насколько "разрушенная эстетика" возродилась на недавних своих обломках. Признанием красоты, как идеала жизни, искусства как важнейшего дела культуры, проникнуты теперь все, вступающие сегодня в жизнь. Если современникам возможно судить о современности, лозунг наших дней, бесспорно, - красота.

Попытки направить общество к религиозности, сделанные не так давно некоторыми группами, - против позитивизма предшествующей эпохи, потерпели крушение. Еще в 1906 -7 годах можно было наблюдать колебание между религиозностью и эстетизмом, но сегодня к религиозным призывам остаются холодны; они уже мало популярны, кроме своих кружков или сект, где свои определенные верования. Призывы к религиозности, обращенные к русскому обществу, которые я имею в виду, носили характер не сектантский и не церковный, хотя и считались иногда с церковностью, - но характер в широком смысле общественный; и по содержанию своему не давали определенной веры, но взывали к *исканию бога*, к исканию веры.

Вот эти-то попытки, исходившие от тех, кто боролся с господством позитивизма и дружил - иногда очень тесно - с возрождением эстетизма, и не

удались: недолгие годы богоискательство сменилось годами эстетизма, и рубежом была революция. Мы и живем теперь именно в эти годы. Время позитивизма с его утилитарно-общественной критикой забыто, как какая-нибудь далекая "Александровская эпоха"; а реакция против него, поколебав ненадолго умы между религией и эстетизмом, кончилась победой эстетизма и слилась с другой "реакцией". И это слияние произошло, наверное, совершенно бессознательно, именно в массе, в быту, так как одной из типичных черт нашей современности является отсутствие больших людей, творческих, героических, господство средних, обыкновенных, сливающихся с массой, не ведущих ее за собой, не направляющих, хотя бы им самим казалось, что и ведут, и направляют.

И потому-то, несмотря на то, что лозунг – эстетизм, и вокруг нас – культ красоты и искусства, мы не имеем ни великого искусства, ни яркой литературной критики, ни талантливого художественного органа, созданных в последние годы. Все, что у нас теперь сколько-нибудь значительного и настоящего в искусстве и критике, принадлежит тем, которые уже вступают в возраст "академический", да и стали, или не сегодня-завтра станут, академиками. Судить о том, насколько значительны художественные достижения этого поколения в общем историческом ходе нашей культуры, сейчас невозможно, но ясно одно, что центральный момент этих достижений – кружок "Мира Искусства", с его влиятельным журналом, победоносными выставками и другими победами (напр., балет в Париже) есть целое событие в художественной жизни, действительно сменившее прежнюю эпоху – "передвижническую", новые же, самые последние, сегодняшние явления – пока, несомненно, только одно баловство, очень бесстильное в своих достижениях, и, во всяком случае, не "великое искусство", которого надо было бы ждать в эпоху эстетизма. Более того, – если сопоставить "Мир Искусства" с "Аполлоном", традиционно примыкающим к нему, сопоставить не по выбору материала и не по изяществу – это уже стало традицией, – по размаху и устремленности идейной, сразу отчетливо станет различие во внутренней силе; а в критическом отделе – та разница, что в старом журнале была "беспокойная" задача, и не одна, а в теперешнем – никакой, кроме самой простой: издание журнала. Оправдывать эту разницу тем, что в то время требовалось одно, теперь – другое, было бы совершенно неправильно, так как наше время тоже имеет свои насущные задачи, – когда же и влиять художественному журналу, как не в эпоху эстетизма? Но критический отдел в "Аполлоне" – вял и бледен, и топчется на одном месте, проявляя в отношении ко всему, что вызывает волнение, не тревогу, которую, не уставая, бил "Мир Искусства", притянув к себе поэтому многое и породив из себя тоже очень многое и очень сложное, разошедшееся по разным путям, – но равнодушие, достойное дилетантизма. Я останавливаюсь на "Аполлоне", потому что говорю об эстетизме, который все шире разливается вокруг нас; кроме него, у нас есть ведь еще только "Старые Годы", но их задача – преимущественно консервативная, и как таковая – вне споров; "Аполлон" же должен быть законодателем вкусов, а между тем какие законы он издал? Кем руководит?

Куда ведет? И вот, если "Старые Годы" консервативны, то "Аполлон" реакционен, так как он не двигает, а должен бы двигать; и остается каким-то уединенным дружеским салоном, мнения которого никого не увлекают и ни для кого не обязательны, даже в художественных кругах. А. Бенуа - один из прежних, а не новых, не "последних" - остается единственно влиятельным для всех - и прежних, и новых, сколько бы новые ни уверяли, что они пошли гораздо дальше, и что он отстал: он не перестает волноваться, и потому не перестает влиять.

Я не хочу сравнивать одного с другим по значению, - но и престарелый представитель теперь уже давнишней эстетики - Репин тоже не перестает волноваться, и, если не влияет, то, во-первых, потому, что самая его эпоха уже стала прошлым, а, во-вторых, потому, что он не критик, и никогда особенно не влиял, сам подчиняясь влияниям. Напомню и об очаровательной фигуре Стасова, с его, казалось, неумирающей раздражительностью и крайностями.

Есть ли у нас сейчас литературная критика, - вызываемая настроением эпохи, чисто эстетическая, волнующаяся и волнующая?

Я очень ценю литературный вкус Брюсова: он у нас, кажется, единственный, кто с таким тщательным вниманием следит за каждой мелочью в поэзии, и его <нрзб.> разборы (в "Русской мысли") по большей части метки и остры, но на что тратится его чутье? Нужна ли эта изощренная наблюдательность в отношении к тому, что ничтожно? В самом популярном из теперешних больших журналов он печатает обозрение за обозрением, в которых, сам строгий к себе, как поэт, он проявляет такую же формальную строгость и к другим - к тем мельчайшим стихотворениям, каких всегда было много, - отличаясь от такого же множества прежних во все времена, что они, подражая Брюсову и некоторым другим из его сверстников, выучились лучше владеть стихом. Вызывает ли такая критика истинную поэзию? В этом - высшее назначение критики. Открывает ли она ту "душу", которой жив каждый истинный поэт, и которую открыть всякий читатель сам не всегда умеет и жадно ждет этого откровения от критики? Или такая критика учит самих поэтов? Да, возможно, что учит быть строже к своей форме, но учит ли тому, что назначение поэта - явить в этих точных словах свою душу, что "форма" обязывает? Сам, как поэт, всегда тревожный, неумолкающий в своих внутренних тревогах, несмотря на случающееся ослабление формы (таковы стихотворения его в последних книжках "Русской Мысли"), - зовет ли Брюсов как критик молодых поэтов к таким же тревогам вопреки всякой форме? Нет! Но внушает, что первая забота всякого поэта - форма! И кто с этим будет вообще спорить, что без формы нет поэтического искусства? Но где критика провозглашает первенство формы, там она безнадежна и раболепно служит не искусству, а эстетизму, там она не волнует ничьих сердец, т.к. сердца хотят "святого беспокойства"! Так торжествует эстетизм, а не искусство. И искусство, и литература развиваются и осложняются, т.е. дробятся, расчленяются, совершенствуются по мелочам, но растут ли изнутри? Становятся ли сильнее? Нет, не становятся! А эпоха отрицания искусства, эпоха антихудожественная в принципах (середина прошлого века), породила,

прежде всего, великую литературу, и, я думаю, великую музыку, - великая именно по внутренней силе. Это ослабление внутренней силы, эта печать вялости есть почти на всем современном, и, если можно спорить с определением "героичности" для русских умов середины того века - для Белинского, Герцена, Чернышевского, Достоевского, Льва Толстого и многих других, то спорить можно в детях и с содержанием самого понятия "героизм", но несомненно (теперь уже - в исторической перспективе), что это было время больших людей, иногда гигантской величины - по силе, по пульсации, по сердцебиению, по возможности всегда дойти до самоотречения, до жертвы. Но кто назвал бы нашу современность героической? А поколение, близящееся теперь уже к возрасту академическому, непосредственно предшествовавшее современности? Придя вслед за "большими людьми" для борьбы за религиозную и эстетическую культуру - против позитивизма и утилитарной критики, они были и есть так же тревожны, как их отцы, влагая в эту тревожность лишь новое содержание, и ею волнуясь, волновали, сохраняя завещанное им "беспокойство", но они не владели уже той внутренней силой, какая был у отцов; и они сами в самых искренних из своих признаний, признавали себя "немоцными" и взывали о помощи, и теперь где они?

Сохранять внутреннюю силу без исторического перерыва, даже без минутных провалов, - ни одно жизнеспособное общество не может. Общественная жизнь, как сто раз об этом говорилось, движется волнообразно то вверх, то вниз, то снова вверх, подымаясь и опускаясь. Нельзя никого упрекать в бессилии, но нет жизни в том обществе, в котором отволновалось, отзвучало "святое беспокойство". Мы - внизу, мы - бессильны, но волнуется ли в нас это беспокойство? Или нам не о чем "свято беспокоиться"? Или нам следует быть всем, что у нас есть, свято довольными?

"Беспокойство" или "недовольство", о которых говорил великий поэт, - не спрячешь, не скроешь. Оно жгучее. Оно жжет и того, в ком оно, и тех, кто с ним соприкасается. Кто влияет, тот волнуется; влиять - значит, жечь, как жгли Белинский, Добролюбов, Достоевский (дело не в мировоззрении!). Уже раньше было сказано: глаголом *жги* сердца людей, - вот первый завет русской литературе, русскому искусству. Другой поэт, говоря о действии слова, сравнивал его с "кинжалом", врезающемуся в живое тело; но для этого нужна и сила! А обжигает - беспокойство и не сильного ума, но горящего внутренно; огонь же разгорается, когда личное внимание направлено вне себя, когда личность в себе не замкнута, когда горит внимание ко всему, что вокруг нее, забывая себя; когда она волнуется за все, что кругом... Или это волнение не свято?

И вот жизнь, история, то, "что кругом нас", - учит, и учит властительно. Отцы и деды наши жили в эпоху отрицания или равнодушия к искусству, - и среди них были гиганты самого искусства, мы живем в эпоху эстетизма - и имеем искусство, каковы бы ни были его достоинства и даже совершенства, отнюдь не великое. Жизнь учит, что эпохи эстетизма не порождали великого искусства, а ведут его к растерянности, и, наконец, - вырождению. Потому что искусство есть одна из насущнейших и нужнейших (не в утилитарном,

конечно, смысле) потребностей людских, без которой жизнь поблекнет; можно сказать, что нации без искусства - не нации, и отрицание его было увлечением или заблуждением, но эстетизм, эстетическое мировоззрение есть такое же или еще худшее заблуждение, и ведет не к росту и расцвету, а к понижению и отпадению самого искусства. Они не пропорционально, а обратно пропорциональны друг другу. Исповедание красоты как принципам жизни указывает на утрату или ущерб "святого беспокойства", которое часто бессознательно, и даже вопреки своим желанием, вызывает на свет великие таланты, потому что истинный *талант* есть одно из проявлений беспокойства, одно из волнений, а эстетизм - есть точка стояния, неподвижность, так как он исповедует созерцание, а не действие, примирение, а не недовольство, любование тем, что есть или что тайно скрыто в явлениях, раз оно выразилось в искусстве. Вот почему разрушать эстетику, т.е. искусство, есть или варварство, или младенчество, или просто полемика, полемический фанатизм (и он ушел безвозвратно в прошлое), но *разрушение эстетизма* есть общественная обязанность тех, для кого дороже всего "святое беспокойство",двигающее всю жизнь людскую, порождающее искусство, над миром обычных явлений мир явлений новых, мир искусства, преображающий мир или предчувствующий его преображение.

И пока мы не поверим, что оно одно только - жгучее, названное поэтом святым, двигает; пока оно не станет лозунгом каждого творящего в нашем обществе действия; пока эстетизм не сменится в нас "святым беспокойством", до тех пор мы никуда не двинемся, до тех пор не явится среди нас ни художественных, ни иных великих талантов.

Нам надо понять, что мы не начинаем каждый день нашу историю сначала: прошлое в нас - оно или развивается в нас, растет, или вырождается и опадает, но не может погибнуть. Эстетизм в русском обществе уже случался и бывал всегда пристанью неглубоких и вялых умов, а "святое беспокойство" рождало героев. Пусть нам отказано сейчас в силе (не над всяким временем почует это благословение!), но она придет, если мы не утратим нашего лучшего национального дара, вызывающего всякое движение и силу движения. А пока пусть нашим лозунгом станет разрушение эстетизма, на благо и самого искусства, чтобы оно из того "не великого" или растерянного, каким оно является, стало великим; чтобы литература тоже сосредоточила свои расслабленные силы в больших и индивидуальных талантах, полных беспокойства; чтобы не только художники, писатели, "знаменитости", а публика, читатели - все смотрели тревожно вокруг себя на все, что кругом нас и чем мы теперь живем, чем мы принуждены жить день за днем больше надеждами, чем действительностью; чтобы в "снежную", в мертвую ночь, которая вокруг нас, не погибла душа движения!